

ГЛАВА III. Размораживая ледниковый период

Надеть и сбросить оковы: о многообразном и изменчивом политическом потенциале нашего вида

В большинстве обществ существует представление о мифической эпохе сотворения. Давным-давно, гласит история, мир был иным: рыбы и птицы умели разговаривать, животные могли превращаться в людей, а люди — в животных. В те времена было возможно появление нового: освоения огня, приготовления пищи, приручения домашних животных или института брака — вещей, которые больше никогда не случатся. Сегодня мы вынуждены бесконечно повторять великие жесты того времени: зажигать собственные костры, заключать собственные браки, кормить собственных домашних животных, не имея при этом возможности изменить мир тем же самым образом.

В некотором смысле сведения о «происхождении человека» играют для нас сегодня такую же роль, какую для древних греков или полинезийцев играли мифы, а для коренных жителей Австралии — истории про Время сновидений^{21}. Это не означает, что мы ставим под сомнение научную достоверность или ценность этих сведений. Мы лишь хотим отметить, что и те и другие выполняют примерно одинаковые функции. Если мыслить в масштабах последних трех миллионов лет, то действительно была эпоха, когда границы между (тем, что мы сегодня считаем) людьми и животными были еще нечеткими; в какой-то момент истории человечества кто-то действительно впервые разжег костер, приготовил еду и провел церемонию бракосочетания. Мы знаем, что это действительно произошло. Но мы до сих пор не знаем, как именно. Очень трудно устоять перед искушением придумывать истории о том, как это могло произойти: истории, которые неизбежно будут отражать наши собственные страхи, желания, переживания и навязчивые идеи. В результате столь далекие времена могут стать огромным полотном для воплощения наших коллективных фантазий.

Это полотно доисторического периода человечества имеет ярко выраженный современный характер. Знаменитый теоретик культуры Уильям Дж. Т. Митчелл однажды заметил, что динозавры — это характернейшие животные модерна, поскольку во времена Шекспира никто не знал, что такие создания когда-либо существовали. Аналогичным образом до сравнительно недавнего времени большинство христиан считали, что все необходимые сведения о древних людях содержатся в Книге Бытия. Вплоть до начала XIX века «просвещенные люди» — в том числе и ученые — в большинстве своем полагали, что Вселенная возникла в конце октября 4004 года до н. э. и что все люди говорили на одном языке (иврите) вплоть до падения Вавилонской башни шестнадцать столетий спустя, после чего человечество рассеялось по земле[100].

В те времена еще не существовало «доисторического» периода. Была только история, даже если некоторая ее часть была абсолютно неверной. Понятие «доисторический» начало широко употребляться только после того, как в 1858 году в пещере Бриксхэм в графстве Девон нашли каменные топоры, внешний вид которых явно указывал на то, что их изготовили люди, а рядом с ними были обнаружены останки пещерного медведя, шерстистого носорога и других вымерших животных, погребенные под горной породой. Это и последующие археологические находки вызвали полное переосмысление имеющихся фактов. Внезапно «дно человеческой истории провалилось»[101].

Проблема в том, что доисторический период оказался очень протяженным по времени: более трех миллионов лет, в течение которых наши предки по крайней мере иногда пользовались каменными орудиями. Наши сведения о большей части этого периода крайне ограничены. В некоторых случаях единственное свидетельство, которым мы располагаем, о деятельности гомининов на протяжении тысяч лет — это отдельный зуб и, возможно, несколько обработанных камешков. В то время как технологии, при помощи которых мы можем изучать далекое прошлое, с каждым десятилетием значительно совершенствуются, имеющиеся в нашем распоряжении материалы остаются скудными. Как следствие, нам трудно устоять перед искушением самостоятельно заполнить имеющиеся пробелы, утверждая, что нам известно больше, чем на самом деле. Когда ученые поступают подобным образом, их работы часто подозрительно напоминают библейские сюжеты, которые современная наука, как считается, должна была отбросить.

Приведем лишь один пример. В 1980-е годы было много шумихи вокруг «митохондриальной Евы»{22}, предположительно — общего предка всего нашего вида. Конечно, речь не шла об обнаружении физических останков этого предка. Дело в том, что секвенирование ДНК, содержащихся в митохондриях — небольших клеточных моторах, которые мы наследуем от наших матерей, — показало, что такая Ева должна была существовать, возможно около сто двадцати тысяч лет назад. И хотя никто не предполагал, что мы когда-нибудь найдем саму Еву, открытие множества других ископаемых черепов, извлеченных из Восточно-Африканской рифтовой долины (естественной «консервационной ловушки» для палеолитических останков, которые уже давно обратились в пыль и прах в более открытых местах), позволило предположить, как могла выглядеть Ева и где она могла жить. Пока ученые продолжали обсуждать все тонкости и нюансы, в популярных журналах вскоре появились статьи о современном аналоге Эдемского сада, первоначальном инкубаторе человечества, саванне-утробе, давшей жизнь всем нам.

Многие по-прежнему представляют себе происхождение человека подобным образом. Однако последние исследования показали, что эта теория неверна. На самом деле биологические антропологи и генетики сейчас сходятся на совершенно иной картине. Это уже не история о том, как единый человеческий род возник в Восточной Африке, а затем, после падения какой-нибудь Вавилонской башни, рассеялся по земле, разделившись на различные народы и нации. Вместо этого исследователи говорят о том, что ранние человеческие популяции, жившие в Африке, демонстрировали гораздо большее физическое разнообразие, чем современные люди.

Мы, современные люди, склонны преувеличивать наши различия, что часто приводит к катастрофическим последствиям. Войны, рабство, империализм, повседневное угнетение на расовой почве — за последние несколько столетий мы видели так много человеческих страданий, оправданием которым служили незначительные внешние отличия, что легко забыть, сколь незначительны они на самом деле. С точки зрения биологии человеческие существа едва различимы между собой. Вы можете отправиться в Боснию, Японию, Руанду или на Баффинову Землю и обнаружить там людей с одинаково маленькими и изящными лицами, подбородком, округлым черепом и примерно одинаковым распределением волос по телу. Мы не только выглядим одинаково, во многих ситуациях мы ведем себя одинаково (например, повсюду, от австралийской глубинки до Амазонии, закатывание глаз — это способ сказать: «Вот идиот!»). То же самое относится и к мышлению. Мы можем считать, что разные группы людей реализуют свои когнитивные способности совершенно по-разному — и в какой-то степени, конечно, так оно и есть, — но большая часть этих кажущихся различий обусловлена тем, что у нас нет реальной основы для сравнения: например, не существует человеческого языка, в котором не было бы существительных, глаголов и прилагательных; и хотя людям могут нравиться совершенно разные формы музыки и танцев, не существует известной человеческой популяции, которая бы вообще не любила музыку и танцы.

Если отмотать назад несколько сотен тысячелетий, то, с большой долей вероятности, всё было совсем не так.

Большую часть эволюционной истории мы действительно жили в Африке, но только не в саваннах на востоке, как считалось ранее: наши биологические предки проживали на всей территории континента, от Марокко до Сахары[102]. Некоторые популяции на протяжении десятков и даже сотен тысяч лет были изолированы друг от друга, отрезаны от своих ближайших родственников пустынями и тропическими лесами. В результате сформировались сильные региональные особенности[103]. На наш современный взгляд, всё это больше походило на мир, населенный хоббитами, великанами и эльфами, чем на тот мир, в котором живем мы или в котором жили наши ближайшие предки. Те характеристики, которые делают нас людьми — обобщенные «мы», к которым мы постоянно отсылаем, — сформировались относительно недавно. Иначе говоря, если нам сейчас кажется, что люди сильно отличаются друг от друга, то это по большей части иллюзия; существующие различия совершенно незначительные и косметические по сравнению с тем, насколько сильно отличались друг от друга наши предки, населявшие Африку на протяжении большей части доисторического периода.

Предки людей не только довольно сильно отличались друг от друга; они также сосуществовали с такими видами, как *Homo naledi*, которые обладали мозгом меньшего размера и больше походили на обезьян. Какими были эти общества наших предков? По крайней мере на данном этапе нам стоит честно признать: по большей части у нас нет ни малейшего представления об этом. По останкам черепов и периодически встречающимся обработанным камешкам можно узнать совсем немного — а по сути, это всё, что у нас есть. В большинстве случаев мы даже не знаем, как выглядели наши предки ниже шеи, не говоря уже о цвете их кожи, какой диеты они придерживались и так далее. Нам известно лишь то, что мы возникли из этой первичной мозаики человеческих групп, которые взаимодействовали друг с другом, скрещивались, отдалялись и соединялись. Как именно это происходило, мы можем только догадываться[104]. Представляется разумным предположить, что такие поведенческие особенности, как практики спаривания и воспитания детей, наличие или отсутствие иерархии доминирования, формы языка и протоязыка, должны были варьироваться не меньше, чем физические типы, а возможно, и гораздо больше.

Пожалуй, единственное, что мы можем сказать со всей уверенностью, это что по своему происхождению мы все африканцы.

Современные люди впервые появились в Африке. Когда они начали расселяться из Африки в Евразию, то столкнулись с популяциями неандертальцев и денисовцев — незначительно, но всё же отличавшихся от них, — и эти группы начали скрещиваться между собой[105]. Только после вымирания этих популяций можно говорить о едином человеческом «мы», населяющем планету. Все это возвращает нас к тому, насколько радикально отличался социальный и даже физический мир наших далеких предков — и дело обстоит так по крайней мере до приблизительно 40 000-х годов до н. э. Окружающий их растительный и животный мир был совершенно непохож на существующий сегодня. Всё это делает проведение аналогий крайне затруднительным. В исторических и этнографических записях нет ничего, что напоминало бы ситуацию, когда различные подвиды человека скрещивались, взаимодействовали, сотрудничали, но иногда и убивали друг друга, а если бы и было, то археологические данные слишком незначительны и разрозненны, чтобы проверить, была ли отдаленная доисторическая эпоха такой или нет[106].

Невероятное разнообразие — это единственное, о чем мы можем с уверенностью говорить в отношении социальной организации наших самых далеких предков. Древние люди проживали в различных природных условиях, от прибрежных зон и тропических лесов до гор и саванн. Они намного, намного сильнее физически отличались друг от друга, чем современные люди; а социальные различия, вероятно, были еще более существенными. Иными словами, нет никакой «первоначальной» формы человеческого общества. Поиски такой формы — это всего лишь вопрос мифотворчества, будь то фантазии об «обезьянах-убийцах», возникшие в 1960-е годы и закрепленные в коллективном сознании такими фильмами, как «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика; о «водных обезьянах»; или же «упоротых обезьянах» (забавная, но абсолютно фантастическая теория, согласно которой мышление возникло благодаря случайному употреблению галлюциногенных грибов). Подобные мифы по сей день развлекают пользователей YouTube.

Стоит пояснить: мы ничего не имеем против мифов. Скорее всего, склонность придумывать истории о далеком прошлом как способ осмысления природы нашего вида сама по себе, подобно искусству и поэзии, является одной из тех ярко выраженных человеческих черт, которые начали выкристаллизовываться в глубокой доисторической эпохе. И, несомненно, некоторые из этих историй — например, феминистские теории, рассматривающие человеческую социальность как порождение практики коллективного воспитания детей, — действительно могут рассказать нам нечто важное о путях, которые привели к появлению современного человечества[107]. Но все такие наблюдения неизбежно будут неполными, ведь никогда не существовало ни райского сада, ни единой Евы-прародительницы.

Почему «парадокс разумности» — это ложная проблема; как только мы стали людьми, мы начали вести себя как люди

Сегодня человек представляет собой довольно однородный вид. С эволюционной точки зрения это единообразие не такое уж древнее. Его генетическая основа была заложена около полумиллиона лет назад, но было бы ошибочно надеяться, что мы когда-нибудь сможем определить единый, более поздний момент в истории, когда «появился» *Homo sapiens* — то есть когда все различные элементы, лежащие в основе современного человека, сошлись воедино в некоем грандиозном моменте творения.

Рассмотрим первое прямое свидетельство того, что мы сегодня называем сложным символическим поведением человека, или просто культурой. В настоящее время оно насчитывает не более ста тысяч лет. То, где именно на Африканском континенте обнаружены эти свидетельства существования культуры, во многом определяется условиями сохранности и тем, какие страны до сих пор были наиболее доступны для археологических раскопок. Одним из основных источников являются скальные навесы на побережье Южной Африки, содержащие доисторические отложения, которые свидетельствуют о наличии орудий с ручками и использовании раковин и охры в художественных целях около 80 лет до н. э.[108] Сравнимые по древности находки обнаружены и в других частях Африки; и всё же лишь значительно позднее, около 45 000 лет назад, когда наш вид уже всю колонизировал Евразию, подобные свидетельства начинают попадаться гораздо чаще и в больших количествах.

В 1980-е и 1990-е годы было распространено мнение, что около 45 000 лет назад произошло некое важное событие, внезапный творческий расцвет. В литературе это событие называли «революцией позднего палеолита» или даже «человеческой революцией»[109]. Однако в последние два десятилетия исследователям становится всё более очевидно, что это, скорее всего, иллюзия, порожденная предвзятостью наших доказательств.

И вот почему. Большая часть свидетельств этой «революции» относится к одной-единственной части света, Европе, где в этот период, около 40 000 лет до н. э., Homo sapiens вытеснили неандертальцев. К ним относятся более совершенные орудия охоты и ремесла, первые четкие свидетельства изготовления изображений из кости, слоновой кости и глины, включая знаменитые скульптурные «женские фигурки»[110]; плотные скопления вырезанных и раскрашенных фигурок животных в пещерах, зачастую выполненных с невероятной точностью; более сложная одежда и украшения для тела; первое свидетельство использования музыкальных инструментов, таких как костяные флейты; свидетельства регулярного обмена сырьем на длительных расстояниях, а также, как принято считать, самые ранние доказательства социального неравенства в виде обширных захоронений.

Всё это впечатляет и создает ощущение, что наши генетические и культурные часы не синхронизированы. Возникает вопрос: почему между биологическим происхождением человечества и широким распространением типично человеческих форм поведения, между тем, как мы стали способны создать культуру, и тем, как мы наконец-то смогли это сделать, проходит столько десятков тысяч лет? Чем мы занимались всё это время? Многие исследователи ломали голову над этим вопросом: они даже придумали выражение «парадокс разумности» (sapiens paradox)[111]. Некоторые из них зашли настолько далеко, что предположили некую позднюю мутацию в человеческом мозге для объяснения очевидно более высоких культурных способностей европейцев времен позднего палеолита, но такие взгляды уже невозможно воспринимать всерьез.

В действительности всё более очевидной становится иллюзорность этой проблемы. Богатство археологических данных из Европы объясняется тем, что европейские правительства, как правило, богаты, а европейские профессиональные институты, научные общества и университетские кафедры занимаются исследованиями доисторического периода у себя на родине гораздо дольше, чем в других частях света. С каждым годом новые свидетельства раннего сложного поведения обнаруживаются и в других регионах: не только в Африке, но и на Аравийском полуострове, в Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте[112]. Пока мы пишем эту книгу, ученые обнаружили в пещере Панга-я-Саиди на побережье Кении бусы из ракушек и искусственно созданные пигменты, возраст которых насчитывает 60 000 лет[113]; а исследование островов Борнео и Сулавеси открывает нам новую перспективу — неизвестный мир наскальной живописи, которая на много тысячелетий старше знаменитых рисунков в пещерах Ласко и Альтамира, расположенных в другой части Евразии[114]. Нет никаких сомнений, что когда-нибудь мы обнаружим более ранние примеры сложного изобразительного искусства и на Африканском континенте.

Если уж на то пошло, Европа опоздала на вечеринку. Даже после того, как ее колонизировали современные люди — этот процесс начался около 45 000 лет до н. э., — население континента оставалось малочисленным и его новые жители сосуществовали, хотя и относительно недолго, с популяцией неандертальцев, которые уже долгое время проживали в Европе (они также занимались разнообразной культурной деятельностью)[115]. Причины внезапного культурного расцвета, начавшегося вскоре после переселения людей в Европу, могут быть связаны с климатом и демографией. Грубо говоря, движение ледникового покрова привело к тому, что человеческие популяции в Европе

оказались в более суровых и стесненных условиях, чем те, с которыми наш вид сталкивался ранее. Богатые дичью долины и степи были ограничены тундрой на севере и густыми прибрежными лесами на юге. Мы должны представить себе, как наши предки перемещались между относительно замкнутыми пространствами, рассеиваясь и собираясь, отслеживая сезонные перемещения стад мамонтов, бизонов и оленей. Хотя абсолютное число людей, возможно, всё еще было поразительно малым[116], интенсивность взаимодействия между ними, судя по всему, значительно возросла, особенно в определенные времена года. А вместе с этим случились и необыкновенные вспышки культурной экспрессии[117].

Почему даже очень искушенные исследователи по-прежнему пытаются ухватиться за идею «происхождения» социального неравенства

Как мы скоро увидим, общества, возникшие во время того, что археологи называют периодом позднего палеолита (примерно 50 000–15 000 лет до н. э.), — с их «царскими» захоронениями и грандиозными общественными зданиями — полностью противоречат нашему представлению о мире, в котором живут небольшие эгалитарные группы охотников и собирателей. Это противоречие настолько глубоко, что некоторые археологи стали придерживаться противоположной точки зрения, описывая Европу ледникового периода как населенную «иерархическими» или даже «стратифицированными» обществами. В этом они солидаризируются с эволюционными психологами, настаивающими на том, что доминантное поведение заложено в наших генах и как только общество выходит за рамки крошечных групп, оно обязательно принимает форму господства одних над другими.

Почти все авторы, кроме плейстоценовых археологов, которые вынуждены сталкиваться с конкретными свидетельствами, просто игнорируют их и продолжают писать так, будто мы можем спокойно исходить из того, что охотники-собиратели жили в состоянии первобытной невинности. Как отмечает Кристофер Боэм{23}, кажется, мы обречены бесконечно разыгрывать войну между «ястребами-гоббсианцами и голубями-руссоистами»: теми, кто считает людей по своей природе иерархическими созданиями, и теми, кто считает их от природы эгалитарными.

Работа самого Боэма показательна в этом отношении. Будучи эволюционным антропологом и специалистом по изучению приматов, он утверждает, что, хотя люди инстинктивно тяготеют к доминантно-подчиненному поведению и это, несомненно, наследие наших предков-обезьянообразных, именно способность сознательно принимать решение не вести себя подобным образом делает наши общества человеческими. Проведя тщательный анализ этнографических данных о существующих эгалитарных группах охотников-собирателей в Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Африке, Боэм выделяет целый ряд тактик,

которые коллективно используются, чтобы поставить на место потенциальных хвастунов и задир: насмешки, стыд, игнорирование (и даже убийство, если коллектив сталкивается с неисправимым социопатом)[118]. Ни одна из этих практик не имеет аналогов у других приматов.

Например, гориллы не смеются над теми, кто бьет себя в грудь, а люди делают это постоянно. Еще более поразительно, что, хоть издевательское поведение вполне может быть инстинктивным, противодействие ему отнюдь не инстинктивно: это хорошо продуманная стратегия, и общества собирателей, которые ее применяют, демонстрируют то, что Боэм называет «актуарным интеллектом» (actuarial intelligence). То есть они понимают, как могло бы выглядеть их общество, если они станут вести себя иначе: если, например, опытных охотников не будут систематически принижать, а мясо слона не будет распределяться среди членов группы случайно выбранным человеком (а не тем, кто убил животное). Это, заключает он, и есть суть политики: способность сознательно размышлять над теми путями, по которым может пойти общество, и выдвигать аргументы, обосновывающие, почему следует выбрать тот, а не иной путь. В этом смысле можно сказать, что Аристотель был прав, когда назвал людей «политическими животными», потому что именно этим не занимаются другие приматы — по крайней мере, насколько нам известно.

Блестящий и очень важный аргумент — но, как и многие другие авторы, Боэм странным образом избегает рассмотрения всех следствий, которые из него вытекают. Давайте же к ним обратимся.

Если суть нашей человечности заключается в том, что мы являемся сознательными политическими акторами, а следовательно, имеем возможность участвовать в самых разных формах социальной организации, то не означает ли это, что большую часть истории люди должны были экспериментировать с этими формами? В итоге, как бы странно это ни звучало, Боэм предполагает, что вплоть до недавнего времени вместо этого люди предпочитали придерживаться одной-единственной формы социальной организации, что мы были исключительно «эгалитарными на протяжении тысяч поколений, прежде чем начали появляться иерархические общества», тем самым небрежно отбрасывая ранних людей обратно в Эдемский сад. Только с возникновением сельского хозяйства, утверждает он, мы все коллективно вернулись к иерархии. Более 12 000 лет назад, настаивает Боэм, люди были по сути эгалитарными, жили в так называемых «обществах равных, в которых за пределами семьи не было никаких доминаторов»[119].

Таким образом, согласно Боэму, на протяжении примерно 200 000 лет политические животные выбирали один образ жизни, а затем сломя голову бросились в оковы, и вновь возникли доминантные паттерны, делающие нас похожими на обезьян. Спор между «ястребами-гоббсианцами и голубями-руссоистами» разрешился следующим образом: генетически мы гоббсианцы, но наша политическая история в точности соответствует описанию Руссо. И что в итоге? Странное упорство в том, что на протяжении многих десятков тысяч лет ничего не происходило. Такой вывод не может не настораживать, особенно если принять во внимание некоторые археологические свидетельства существования «палеолитической политики».

Раздел, в котором мы наблюдаем, как величественные монументы, царские захоронения и другие неожиданные особенности обществ ледникового периода меняют наши представления об охотниках-собирателях, и разбираем, что означает утверждение о существовании «социальной стратификации» около 30 000 лет назад

Начнем с богатых захоронений охотников-собирателей. Примеры можно найти на большей части Западной Евразии, от Дордони до Дона. Они включают в себя находки как в естественных скальных укрытиях, так и в поселениях под открытым небом. Возраст самых древних из них, таких как стоянка Сунгирь в северной части России и Дольни-Вестонице в Моравском бассейне, к югу от Брно, насчитывает от 26 до 34 тысяч лет. Здесь мы видим не кладбища, а изолированные захоронения отдельных лиц или небольших групп, чьи тела часто располагались в необычных позах и были украшены — в некоторых случаях почти сплошь — орнаментом. В захоронениях в Сунгире были найдены тысячи бус, старательно изготовленных из костей мамонта и зубов лисицы. Первоначально такие бусы украшали одежду, изготовленную из меха и шкур животных. Одни из самых пышных костюмов — из совместного захоронения двух мальчиков, по бокам которых лежат огромные копыта из выпрямленных бивней мамонта[120].

В Дольни-Вестонице в одном захоронении было найдено трое мужчин: тела молодых мужчин в замысловатых головных уборах располагались по обе стороны от старшего мужчины. Все они лежали на земляной насыпи, окрашенной охрой в красный цвет[121]. К тому же периоду относится группа пещерных захоронений на Лигурийском побережье, рядом с современной границей Италии и Франции. Тела молодых или взрослых мужчин, в том числе одно особенно роскошное захоронение, известное археологам как Il Principe (итал. «принц»), были расположены в необычных позах и украшены драгоценностями, в том числе бусами из морских раковин и оленьих клыков, а также клинками из экзотического кремня. Il Principe получил свое название благодаря предметам, с которыми его похоронили и которые

современный наблюдатель может принять за королевские регалии: кремневый скипетр, жезл из рогов лося и роскошный головной убор, старательно изготовленный из продырявленных ракушек и оленьих зубов. Переместившись дальше на запад, к реке Дордонь, мы обнаружим захоронение молодой женщины, так называемой Леди Сен-Жермен-де-ла-Ривьер, возраст которого составляет 16 000 лет. Захоронение содержит богатую коллекцию украшений для живота и таза, сделанных из ракушек и оленьих зубов. Зубы принадлежали оленю, убитому в испанской Стране Басков за 190 миль от захоронения[122].

Эти находки полностью изменили взгляд специалистов на человеческие общества в доисторический период. Маятник так сильно качнулся прочь от прежнего представления об эгалитарных группах, что некоторые археологи теперь утверждают, что за тысячи лет до возникновения земледелия человеческие общества уже были разделены по признакам статуса, класса и наследственной власти. Как мы увидим, это очень маловероятно, но доказательства, на которые указывают археологи, вполне реальны: например, невероятные трудозатраты, необходимые для создания предметов, помещенных в захоронения (по некоторым оценкам, на создание одних только бус из Сунгира ушло 10 000 часов работы); высокоразвитые и стандартизированные методы производства, возможно предполагающие наличие специализации среди ремесленников; транспортировка экзотических, престижных материалов на очень большие расстояния; и, самое интригующее, ценности, обнаруженные в детских захоронениях, которые могут свидетельствовать о наличии наследуемого статуса[123].

В результате недавних археологических исследований были обнаружены монументальные архитектурные сооружения, относящиеся к тому же периоду. Это также заставило многих ученых пересмотреть свои взгляды на доисторических охотников-собираателей. Самый знаменитый пример в Евразии — каменные храмы в горах Гермуш, возвышающиеся над равниной Харран на юго-востоке Турции. В 1990-е годы немецкие археологи, работавшие на северном краю равнины, начали находить очень древние останки в том месте, которое местные жители называют Гёбекли-Тепе[124]. То, что они впоследствии обнаружили, стало эволюционной загадкой. Наибольшее недоумение вызывает группа из двадцати мегалитических сооружений, которые были возведены около 9000 лет до н. э. и затем неоднократно модифицировались на протяжении многих веков. Они были созданы в то время, когда окружающая равнина представляла собой сочетание лесистой местности и степи, изобиловала дикими растениями и животными, заселившими Ближний Восток, когда последний ледниковый период подходил к концу.

Сооружения в Гёбекли-Тепе огромны. Они составлены из Т-образных столбов высотой более 16 футов и весом до тонны, высеченных из известняковой породы, добытой там же или доставленной из близлежащих карьеров. Столбы, всего их не менее двухсот, установлены в гнезда и соединены стенами из грубого камня. Каждый из них представляет собой уникальную скульптуру, на которой высечены образы опасных хищников и ядовитых рептилий, а также дичи, водоплавающих птиц и мелких падальщиков. Резные изображения животных выступают из камня на разную глубину: некоторые едва возвышаются над поверхностью, другие представляют собой полнообъемные фигуры. Эти зачастую пугающие существа направлены в разные стороны: одни движутся в сторону горизонта, другие устремлены вниз, на землю. Местами сам столб превращается в некое подобие стоящего

тела с человекоподобными конечностями и одеждой.

Создание таких выдающихся строений требует четко скоординированных действий в огромном масштабе, особенно если возводились сразу несколько объектов одновременно в соответствии с общим планом (сейчас это предмет дискуссий)[125]. Но остается открытым и более важный вопрос: кто их построил? Проживавшие в окрестностях люди к тому времени начали выращивать сельскохозяйственные культуры, но строители Гёбекли-Тепе, насколько нам известно, не занимались земледелием. Да, они собирали и перерабатывали дикорастущие злаки и другие сезонные растения, но у нас нет никаких веских причин считать их «протофермерами» или утверждать, что они стремились организовать свою жизнь вокруг культивирования посевов. Более того, у них не было на то особых причин, учитывая, что прилегающие районы изобиловали фруктами, ягодами, орехами и съедобной дикой фауной. (На самом деле, есть все основания полагать, что строители Гёбекли-Тепе довольно сильно отличались от своих соседей, которые тогда начинали заниматься сельским хозяйством, но об этом мы поговорим в следующей главе; пока что нас интересуют сами памятники.)

Некоторые считают, что приподнятое расположение и ориентация построек в Гёбекли-Тепе имеют астрономическое или хронометрическое назначение: каждая цепь столбов соответствует определенному циклу движения небесных тел. Археологи относятся к этому скептически, отмечая, что когда-то постройки могли быть крытыми, а их планировка со временем подвергалась многочисленным изменениям. Но больше всего исследователей из разных дисциплин волнует другое: кажется, перед нами доказательство того, что «в обществах охотников-собирателей возникли институты, которые позволяли организовывать масштабные общественные работы, осуществлять строительные проекты и возводить монументальные сооружения, а следовательно, в них существовала сложная социальная иерархия еще до перехода к земледелию»[126]. И снова всё оказывается не так просто, потому что эти два феномена — иерархия и измерение времени — были тесно связаны между собой.

Хотя Гёбекли-Тепе часто преподносят как аномалию, на самом деле существует множество свидетельств, указывающих на то, что охотники-собиратели возводили различные монументальные сооружения и в более ранние периоды, вплоть до ледникового периода.

Около 12–25 тысяч лет назад общественные работы уже практиковались в Европе на территории от Кракова до Киева. На этом отрезке ледниковой границы обнаружены остатки внушительных круглых сооружений, которые по своим масштабам (диаметр самых крупных превышал 39 футов), долговечности, эстетическим качествам и выдающемуся положению в плейстоценовом ландшафте явно отличаются от обычных жилых построек. Они были возведены на каркасе, изготовленном из бивней и костей многих десятков мамонтов, сложенных в чередующихся последовательностях и паттернах, что, очевидно, выходит за рамки простой функциональности и создает структуры, которое впечатлили бы и нас, а для людей того времени наверняка выглядели еще более поразительно. Там же были воздвигнуты и огромные замкнутые сооружения из дерева длиной до 40 метров, от которых остались только отверстия для столбов и провалившиеся полы[127]. Вероятно, у Гёбекли-Тепе тоже были свои деревянные пристройки.

Монументальность — понятие относительное. Здание или конструкция «монументальны» только по сравнению с другими зданиями или конструкциями, с которыми зритель реально сталкивался. Очевидно, что в ледниковый период не было построено ничего сопоставимого с пирамидами Гизы или римским Колизеем, — но по меркам своего времени описанные нами сооружения могут рассматриваться только как результат общественных работ, требующих продуманного плана и впечатляющего уровня координации. Исследования стоянки в Юдиново (Россия) дают повод предположить, что «мамонтовые дома», как их часто называют, на самом деле были не жилищами, а памятниками в прямом смысле слова: тщательно спланированные и построенные в честь завершения большой охоты на мамонта (и солидарности группы охотников), с использованием всех долговечных частей, оставшихся после переработки туш на мясо и шкуры, а затем покрытые слоем грунта, чтобы создать долговечный маркер в ландшафте[128]. Речь идет о действительно поразительных количествах мяса: на каждое сооружение (в Юдиново их было пять) приходилось столько мамонта, что им можно было кормить сотни людей в течение примерно трех месяцев[129]. Поселения под открытым небом, такие как Юдиново, Межирич и Костенки, где возводились подобные мамонтовые памятники, часто становились центрами, где местные жители обменивались янтарем, морскими раковинами и шкурами животных с людьми, прибывшими издалека.

Что же означают все эти каменные монументы, царские захоронения, мамонтовые памятники и оживленные торговые и ремесленные центры, которые существовали еще со времен ледникового периода? Что они делают там в эпоху палеолита, в которую — по крайней мере, по мнению некоторых исследователей — ничего не происходило, а человеческие общества походили на стаи шимпанзе или бонобо? Неудивительно, что некоторые исследователи после этих находок полностью отказались от идеи эгалитарного золотого века и заключили, что мы, должно быть, имеем дело с обществами, которые управлялись могущественными лидерами, даже династиями, — и следовательно, двигателями социальной эволюции человека всегда были тяга к величию и сила принуждения. Но и это не совсем верно.

Признаки институционального неравенства в обществах ледникового периода, будь то величественные захоронения или монументальные сооружения, носят спорадический характер. Захоронения роскошно одетых людей разделяют несколько столетий, и зачастую они находятся в сотнях миль друг от друга. Даже если списать всё на ограниченность и фрагментарность наших данных, остается вопрос, почему они столь фрагментарны: ведь если кто-то из «князей» ледникового периода вел себя подобно, скажем, князьям бронзового века (не говоря уже об итальянских эпохи Ренессанса), то мы должны были обнаружить обычные атрибуты централизованной власти: укрепления, хранилища, дворцы. Вместо этого на протяжении десятков тысяч лет мы видим монументы и величественные захоронения, но мало что еще свидетельствует о росте ранговых обществ, не говоря уже о чем-то отдаленно напоминающем «государства». Чтобы понять, почему ранняя летопись человеческой социальной жизни складывается таким необычным, в ритме стаккато, образом, нам нужно избавиться от некоторых устойчивых стереотипов о «первобытном» мышлении.

Раздел, в котором мы избавляемся от устоявшихся представлений о том, что «примитивные» народы не способны на сознательную рефлекссию, а также обращаем внимание на историческое значение эксцентричности

В предыдущей главе мы утверждали, что по-настоящему коварная составляющая наследия Руссо — это идея не столько «благородного», сколько «глупого дикаря». Возможно, нам удалось преодолеть откровенный расизм, который был присущ большинству европейцев XIX века — или, по крайней мере, нам так кажется. Тем не менее по-прежнему можно встретить очень искушенных современных мыслителей, которые считают, что «группы» охотников-собирателей более уместно сравнивать с шимпанзе или бабуинами, чем с теми людьми, которых они встречают в своей повседневной жизни. Рассмотрим следующий отрывок из книги историка Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества» (2014). Харари начинает с совершенно обоснованного наблюдения: наши знания о ранней истории человечества крайне ограничены, а человеческие общества, проживавшие в разных частях света, вероятно, сильно отличались друг от друга своим общественным устройством. На самом деле Харари даже преувеличивает нашу неосведомленность (он утверждает, что мы вообще ничего не знаем, даже о ледниковом периоде), но, в общем и целом, это справедливое замечание. А затем Харари пишет следующее:

“ Мы также почти ничего не знаем о социально-политическом устройстве мира собирателей. Ученые расходятся в мнениях даже по основным вопросам: существовали ли личная собственность, нуклеарная семья, моногамные отношения. Возможно, социальная структура заметно варьировалась от одной группы людей к другой: в каких-то группах жизнь была столь же расслабленной, мирной и распутной, как в сообществах бонобо, а в других — не менее иерархичной, напряженной и жестокой, чем в самой злобной стае шимпанзе{24}.

Получается, что до появления земледелия все люди не просто жили в небольших группах, но и эти группы по большей части были подобны обезьяньим. Если вам кажется, что мы несправедливы по отношению к автору, заметьте, что Харари мог с таким же успехом написать: «не менее напряженной и жестокой, чем в самой отморозенной банде байкеров» и «столь же расслабленной, мирной и распутной, как в коммунах хиппи». Кажется, это логично — сравнить одну группу людей... с другой группой людей. Почему же тогда Харари

выбрал шимпанзе вместо байкеров? Есть ощущение, что основное отличие — в том, что байкеры выбирают свой образ жизни. Выбор предполагает наличие политического сознания, то есть способности дискутировать и размышлять о том, как следует жить, чего, как напоминает нам Боэм, обезьяны как раз и не делают. Несмотря на это, Харари, как и многие другие, всё равно решает сравнивать первых людей именно с обезьянами.

Так, хотя и в новом обличье, возвращается «парадокс разумности» — как побочный эффект сомнительного подхода к анализу имеющихся данных: либо мы настаиваем, что наш мозг оставался неизменным на протяжении многих тысячелетий, но по каким-то причинам мы всё равно предпочитали жить как обезьяны; либо мы утверждаем, что у нас была возможность преодолеть наши инстинкты приматов и бесконечное множество вариантов того, как мы могли бы организовать нашу жизнь, но по некой столь же загадочной причине мы неизменно придерживались одного-единственного варианта организации общества.

Возможно, настоящий вопрос заключается в том, что значит быть «сознательным политическим актором». Философы, как правило, определяют человеческое сознание в категориях самосознания; нейрочеловеки, напротив, говорят о том, что большую часть своей жизни мы проводим на автопилоте, используя привычные модели поведения без какой-либо сознательной рефлексии. Обычно мы способны осознавать себя лишь в течение очень непродолжительных отрезков времени: как правило, «окно сознания», когда мы удерживаем в голове мысль или продумываем решение проблемы, длится около семи секунд. Однако нейрочеловеки (стоит отметить, что это касается и большинства современных философов) почти никогда не обращают внимание на одно важное исключение — разговор с другим человеком. Во время разговора мы иногда можем удерживать мысли в голове и искать решение проблемы в течение нескольких часов подряд. Именно по этой причине, даже пытаясь самостоятельно в чем-то разобраться, мы часто всё равно представляем, что с кем-то спорим или кому-то что-то объясняем. Человеческая мысль диалогична по своей сути. Древние философы, как правило, хорошо это понимали: по этой причине мыслители, будь то в Китае, Индии или Греции, писали свои работы в форме диалогов. Они считали, что люди в полной мере обладают самосознанием, лишь когда спорят друг с другом, пытаются переубедить друг друга или ищут решение общей проблемы. В то же время считалось, что истинного индивидуального самосознания могут достичь лишь немногие мудрецы благодаря долгой учебе, упражнениям, дисциплине и медитации.

То, что мы сейчас назвали бы политическим сознанием, всегда предполагалось как данность. В этом смысле западная философская традиция в последние несколько веков пошла по довольно необычному пути. Примерно в то же время, когда диалог перестал быть ее основным режимом письма, она перестала рассматривать изолированную, рациональную, сознательную личность как редкое свершение, которого обычно достигают — если и достигают — только по прошествии долгих лет, проведенных в изоляции в пещере, монашеской келье или на вершине столпа, расположенного посреди пустыни. Теперь такое состояние стало восприниматься ей как стандартное для всех людей.

Что еще более странно, в течение XVIII и XIX веков европейские философы начали рассматривать именно политическое самосознание как выдающееся историческое достижение, как феномен, ставший возможным только благодаря Просвещению и

последовавшим за ним Американской и Французской революциям. Считалось, что до этого люди слепо следовали традициям или тому, что они считали божьей волей. Даже участники крестьянских и народных восстаний, стремясь свергнуть деспотические режимы, якобы не осознавали этого и убеждали себя, что они восстанавливают «древние обычаи» или действуют по некоему божественному вдохновению. Викторианские интеллектуалы считали, что до начала современной эпохи люди были не в состоянии представить себе социальный порядок, который был бы им больше по душе, а затем попытаться воплотить его в жизнь, — и многие из них были отнюдь не уверены, что стоит заниматься этим и в их собственную эпоху.

Всё это сильно удивило бы Кондиаронка, философа и политического лидера вендат, жившего в XVII веке. В предыдущей главе мы говорили о его влиянии на европейскую политическую мысль. Вендат, как и многие другие североамериканские народы того времени, рассматривал свое общество как конфедерацию, созданную сознательным соглашением, открытым к регулярному пересмотру. Но к концу XIX — началу XX века многие европейцы и американцы дошли до того, что стали утверждать, что таких людей, как Кондиаронк, попросту не могло существовать. «Примитивные» люди, утверждали они, не только не обладают политическим сознанием, но даже на индивидуальном уровне не способны на полностью сознательное мышление — или, по крайней мере, на мышление, достойное такого названия. То есть, делая вид, будто «рациональный западный индивид» (скажем, британский проводник в поезде или французский колониальный чиновник) всё время в полной мере осознаёт себя (очевидно абсурдное предположение), они утверждали, что любой человек, относящийся к «примитивным» или «диким» народам, мыслит «пралогически» или обитает в мифическом мире грез. В лучшем случае «дикари» были бездумными конформистами, связанными оковами традиции; в худшем — людьми, не способными на полностью сознательное, критическое мышление.

Такие теории можно считать кульминацией реакции на критику европейского общества со стороны коренных жителей Америки. От аргументов, приписываемых таким фигурам, как Кондиаронк, теперь можно было легко отмахнуться, заявив, что это всего лишь проекции западных фантазий о «благородном дикаре», ведь теперь считалось, что настоящие дикари живут в совершенно иной мыслительной вселенной. Ни один уважающий себя современный исследователь не стал бы делать подобные заявления; по крайней мере на словах все сейчас согласны с тезисом о психическом единстве человечества. Но на практике, как мы видим, мало что изменилось. Исследователи по-прежнему пишут свои работы так, словно на более ранних ступенях экономического развития и особенно в обществах, классифицируемых как «эгалитарные», всех можно считать абсолютно одинаковыми, обладающими неким коллективным групповым мышлением: если мы и находим те или иные отличия — одни «группы» отличаются от других, — то это такие же отличия, которые можно обнаружить, рассматривая различные стаи высших приматов. В таком случае политическое сознание или то, что мы бы сейчас назвали визионерской политикой, было попросту невозможным.

И когда оказывается, что существовали охотники-собиратели, которым вообще не была свойственна постоянная жизнь в «группе» и которые вместо этого объединялись для создания величественных ландшафтных памятников, запасались долго хранящейся едой в

большом количестве и относились к некоторым членам общества как к королевским особам, то современные исследователи скорее поместят их на новую ступень развития: из категории «простых» охотников-собирателей они перейдут в категорию «сложных», на шаг ближе к земледелию и городской цивилизации. Но они по-прежнему находятся в тех же эволюционных оковах в духе теории Тюрго. Их место в истории по-прежнему определяется способом добычи пищи, а их роль сводится к тому, чтобы слепо подчиняться некоему абстрактному закону развития, который понятен нам, но не им. И едва ли многие задаются вопросом: что за мир, как они думали, они пытались построить?[130]

Безусловно, всегда были исключения из этого правила. Антропологи, которые на протяжении многих лет общались с представителями коренных народов на их собственных языках и наблюдали, как они спорят друг с другом, как правило, прекрасно понимают, что даже те, кто добывает себе пропитание охотой на слонов или собирает бутоны лотоса, — это такие же скептические, творческие и вдумчивые люди, столь же способные к критическому анализу, как и те, кто зарабатывает себе на жизнь, управляя трактором, рестораном или факультетом университета. Некоторые пошли по пути Пола Радина, который в своей книге 1927 года «Примитивный человек как философ» пришел к выводу, что по крайней мере тем народам, с которыми он был знаком лучше всего — виннебаго и другим коренным народам Северной Америки, — в среднем была свойственна большая вдумчивость и рассудительность.

Радин прослыл чудачком среди современников (он всегда сторонился нормальных академических должностей; в Чикагском университете ходила легенда, что однажды Радин получил должность преподавателя, но первая лекция настолько его напугала, что после нее он незамедлительно отправился на ближайшее шоссе, где ему удалось сломать ногу, попав под машину, — оставшуюся часть семестра он провел в больнице, наслаждаясь чтением.) Возможно, неслучайно в «примитивных» обществах, с которыми Радин был знаком лучше всего, его прежде всего поражала их терпимость по отношению к эксцентричности. Он пришел к выводу, что это было логическим следствием отказа от принуждения, то есть того же самого принципа, что так поразил иезуитов в Квебеке. Он отмечал, что если один из виннебаго решит, что богов или духов на самом деле не существует, и откажется совершать ритуалы для их умиротворения или даже станет утверждать, что старейшие со своей коллективной мудростью заблуждаются, и придумает свою личную космологию (и то и другое периодически происходило), то над таким скептиком точно будут смеяться, а его близкие друзья и члены семьи, возможно, начнут беспокоиться, как бы боги не покарали его. Однако им никогда не придет в голову, что они должны его наказать или кто-то должен принудить его к конформизму — например, обвинить в неудачной охоте и на этом основании отказаться делиться с ним едой, пока он не согласится совершить привычные ритуалы.

У нас есть все основания полагать, что в каждом человеческом обществе существуют скептики и нонконформисты; разница лишь в том, как остальные реагируют на них[131]. Радина интересовали интеллектуальные последствия — спекулятивные системы взглядов, которые могли создать такие нонконформисты. Другие исследователи обращали внимание на политические следствия. Часто выходит так, что именно люди с небольшими странностями становятся лидерами; по-настоящему странные люди могут стать духовными фигурами, но, кроме того, они могут и часто служат своего рода резервом потенциальных

талантов и ценных наблюдений, к которому общество обращается в случае кризиса или непредвиденного развития событий. Например, Томас Бейдельман отмечал, что в начале XX века у нуэров — скотоводческого народа Южного Судана, известного своим неприятием всего, что напоминает государство, — были политики и деревенские «быки» (сейчас мы назвали бы их «решалами»), известные своим пренебрежением к общепринятым правилам, «священники земли», выступавшие посредниками в местных спорах, и, наконец, пророки. Политиками часто становились нестандартные люди: например, местный «бык» нередко был женщиной, чьи родители объявили свою дочь мужчиной, чтобы повысить ее общественный статус; священники всегда происходили откуда-то издалека; но пророк был фигурой еще более экстравагантной. Он мог пускать слюни, смотреть отсутствующим взглядом, вести себя как эпилептик; заниматься затратными по времени, но бесполезными вещами, например часами выкладывать на земле узоры из ракушек, сидя в кустах; подолгу жить в дикой природе; даже есть экскременты или золу. Пророки, отмечает Бейдельман, «могли нести околесицу, входить в состояние транса, голодать, стоять на голове, носить перья в волосах, бодрствовать ночью, а не днем, сидеть на крышах. Некоторые сидели с привязными колышками в анусе»[132]. У многих из них также были физиологические особенности. Некоторые были кроссдрессерами или предавались нестандартным сексуальным практикам.

Иными словами, это были крайне необычные люди. При чтении исследований возникает ощущение, что в доколониальный период в каждом поселении нуэров была небольшая группа тех, кого можно назвать исключительными личностями; в нашем же обществе их могли бы посчитать крайне эксцентричными или вызывающе квинными, нейроотличными или психически больными. Обычно к пророкам относились одновременно с недоумением и уважением. Их считали больными; но их болезнь была прямым следствием того, что они соприкоснулись с божественным. В результате, когда происходили масштабные бедствия или невероятные события — эпидемия чумы или вражеское вторжение, — именно среди этих людей искали харизматичного лидера, который смог бы справиться с ситуацией. Так тот, кому в противном случае была уготована судьба деревенского дурачка, проявлял себя как дальновидный человек с большой силой убеждения, способный вдохновить новые социальные движения среди молодежи или координировать действия старейшин по всей стране нуэров, убеждая их забыть о разногласиях и объединиться для достижения общей цели, а иногда — даже предложить совершенно иное видение того, каким должно быть общество.

Что Клод Леви-Стросс узнал у намбиквара о роли вождей и сезонной изменчивости общественной жизни

Клод Леви-Стросс — один из немногих антропологов середины XX века, который серьезно относился к идее о том, что древние люди не уступали нам в интеллектуальном плане. Отсюда его знаменитый аргумент из книги «Неприрученная мысль», где он говорит, что

мифологическое мышление — это не путаница, предшествующая логическому мышлению, а скорее своего рода «неолитическая наука», такая же сложная, как и наша, просто построенная на других принципах. Его ранние работы о политике не так известны, но они более актуальны для проблем, которые мы здесь рассматриваем.

В 1944 году Леви-Стросс опубликовал эссе о политике у намбиквара, небольшого народа, совмещающего земледелие и собирательство и живущего на особенно негостеприимном участке саванны на северо-западе бразильского штата Мату-Гросу. В те времена у намбиквара была репутация очень простого народа, которая была связана с их крайне рудиментарной материальной культурой, так что многие воспринимали их чуть ли не как окно в палеолит. Однако, по мнению Леви-Стросса, это было ошибкой. Такие народы как намбиквара живут в тени современного государства, торгуя с фермерами и городскими жителями, иногда нанимаются к ним в работники. Среди них можно встретить даже потомков людей, бежавших из городов или с плантаций. Тем не менее, пишет Леви-Стросс, если мы посмотрим на то, как намбиквара организуют свою жизнь, это поможет нам лучше понять человечество в целом — прежде всего сферу политики.

Особенно поучительной особенностью образа жизни намбиквара, по мнению Леви-Стросса, было то, что, несмотря на неприятие конкуренции (у них в любом случае было слишком мало богатств, чтобы мериться ими), они всё же назначали вождей как руководителей племени. Сама простота сложившегося в результате строя, полагал он, может высветить «некоторые базовые функции» политической жизни, которые «остаются незамеченными в более сложных и продуманных системах управления». Роль вождей в социальном и психологическом аспектах соответствовала роли политиков и государственных деятелей в европейском обществе, отмечал Леви-Стросс. Но, более того, эти занятия привлекали людей с похожим типажом: тех, кто «в отличие от большинства своих товарищей, наслаждается престижем самим по себе, любит ответственность и видит прелесть в бремени общественной службы»[133].

Современные политики играют роль посредников при заключении альянсов или достижении компромиссов между различными группами. В обществе намбиквара этого почти не происходило, поскольку между его членами не было особых различий в богатстве или статусе. Однако вожди играли в нем аналогичную роль, выступая посредниками между двумя абсолютно разными социальными и этическими системами, существовавшими в разные времена года. Дело в том, что в 1940-е годы намбиквара фактически жили в двух очень разных обществах{25}. В сезон дождей они переселялись в деревни на вершинах холмов по несколько сотен человек и занимались садоводством; остальную часть года разбивались на небольшие группы, добывающие пищу собирательством. Вожди создавали или теряли свою репутацию, выступая в роли героических лидеров во время «кочевых приключений» засушливого сезона, когда они обычно отдавали приказы, разрешали кризисы и вели себя таким образом, который в другое время был бы воспринят как недопустимо авторитарный. В сезон дождей, когда жизнь была гораздо более легкой и изобильной, они полагались на эту репутацию, чтобы привлечь последователей, которые селились вокруг них в деревнях, где они использовали только мягкие уговоры и личный пример, чтобы направить своих последователей на строительство домов и уход за садами. Одновременно они заботились о больных и нуждающихся, выступали посредниками при

урегулировании споров и никогда никому ничего не навязывали.

Кем нам следует считать этих вождей? Они не были патриархами, заключает Леви-Стросс; не были они и мелкими тиранами (даже несмотря на то, что в ограниченные периоды времени им было позволено вести себя подобным образом); они также не были наделены некими мистическими силами. Собирая ресурсы в один фонд и распределяя их между нуждающимися, вожди намбиквара больше всего напоминали кого-то вроде современных политиков, управляющих зачаточными государствами всеобщего благосостояния. Но ничто не впечатлило Леви-Стросса так, как их политическая зрелость. Именно способность вождей возглавлять небольшие группы собирателей в засушливый сезон, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях (переправа через реку, координирование охоты) впоследствии позволяла им выступать в роли посредников и дипломатов на деревенской площади. Но в процессе они фактически каждый год перемещались вверх-вниз между абсолютно разными, с точки зрения эволюционных антропологов (работающих в традиции Тюрго), стадиями общественного развития: от охотников-собирателей к земледельцам и обратно.

То невозмутимое совершенство, с которым вождь намбиквара переключался между двумя разными социальными системами, при этом поддерживая баланс между личными амбициями и общим благом, — вот что делает вождя намбиквара столь удивительно узнаваемой политической фигурой. Вожди были в полном смысле этого слова сознательными политическими акторами. Именно гибкость и умение адаптироваться позволяли им так отстраненно смотреть на системы, действующие в разные времена года.

Впоследствии Леви-Стросс стал самым известным антропологом в мире и, возможно, самым знаменитым интеллектуалом Франции, но его раннее эссе о лидерстве у намбиквара оказалось почти полностью забыто. По сей день о нем знают в основном только специалисты по Амазонии. Одна из причин заключается в том, что в послевоенные десятилетия Леви-Стросс двигался в направлении, противоположном тому, в котором развивалась дисциплина. Там, где он отмечал сходства между жизнью охотников, земледельцев и граждан современных индустриальных демократических обществ, почти все остальные исследователи — и в особенности те, кто интересовался обществами охотников и собирателей, — применяли новые разновидности схемы Тюрго, хотя и используя обновленный язык и подкрепляя свои суждения огромной массой строгих научных данных. Отказавшись от таких старомодных понятий, как «дикость», «варварство» и «цивилизация», которые начали звучать слишком высокопарно, они установили новую последовательность, которая шла от «групп» к «племенам», «вождествам» и «государствам». Кульминацией этого тренда стал знаковый симпозиум «Человек-охотник», состоявшийся в Чикагском университете в 1966 году. На нем изучение охотников-собирателей рассматривалось как новая дисциплина, которую участники конференции предложили назвать «поведенческой экологией» и начали со строгих количественных исследований племен африканской саванны и тропических лесов — калахарийских сан, восточных хадза и пигмеев мбути, — включая подсчет калорий, изучение распределения времени и других данных самого разного рода, которые не были доступны для предыдущих исследователей{26}.

Новые исследования появились одновременно с внезапным всплеском интереса широкой публики к тем же африканским обществам: например, Маршаллы, американская семья антропологов и режиссеров, сняли свои знаменитые короткометражные фильмы о бушменах Калахари, которые стали неотъемлемой частью вводных курсов по антропологии и просветительских телепередач по всему миру{27}, наряду с бестселлерами вроде книги Колина Тернбулла «Лесные люди»{28}. В скором времени общим местом стала концепция о том, что собиратели представляют собой отдельную стадию общественного развития, что они «живут небольшими группами», «активно перемещаются», не приемлют никаких социальных различий, кроме тех, что обусловлены возрастом и гендером, и разрешают конфликты путем «расщепления» на группы вместо того, чтобы прибегать к суду или насилию[134]. Тот факт, что африканские общества, по крайней мере в некоторых случаях, состояли из беженцев, переселившихся в места, в которых никто не хотел жить, или что многие общества охотников и собирателей, запечатленные в этнографических записях (которые к тому времени были в значительной степени уничтожены колониализмом европейских поселенцев и поэтому недоступны для количественного анализа), были совсем не такими, признавался от случая к случаю. Но на это редко обращали внимание. Небольшие эгалитарные группы полностью соответствовали тому, как представляли себе охотников-собирателей люди, воспитанные на наследии Руссо. Казалось, что теперь их точку зрения подтверждают неопровержимые количественные данные (а также фильмы!).

В этой новой реальности намбиквара, о которых писал Леви-Стросс, оказались нерелевантны. В конце концов, с точки зрения эволюционизма они даже не были настоящими охотниками-собирателями, поскольку кочевали в группах только семь или восемь месяцев в году. Поэтому очевидный парадокс, что их большие деревенские поселения были эгалитарными, а группы охотников-собирателей — нет, можно игнорировать, чтобы не портить эту новую картину. В обновленной схеме социальной эволюции человека не было места высокому уровню политического самосознания, которым явно обладали вожди намбиквара, не говоря уже о бурной импровизации, которую нуэры ожидали от своих пророков.

Раздел, в котором мы возвращаемся к доисторическому периоду и анализируем данные, указывающие на существование «исключительных личностей» и сезонной изменчивости общественного устройства в

ледниковый период и позднее

Намбиквара, виннебаго или нуэры XX века не могут стать для нас окном в прошлое. Что они могут сделать, так это подсказать направления исследований, которые мы, возможно, иначе и не подумали бы искать. Рассмотрев их социальные системы, кажется само собой разумеющимся задать следующие вопросы: есть ли свидетельства того, что для древних человеческих обществ также была характерна сезонная изменчивость социальной структуры? Или, может быть, эксцентричные личности не только пользовались уважением, но и играли важную политическую роль в эпоху палеолита? Как выясняется, в обоих случаях ответ утвердительный. Более того, доказательства просто ошеломляют.

Вернемся к богатым захоронениям позднего палеолита, которые часто рассматриваются как доказательства возникновения «неравенства» или даже своего рода наследственной аристократии. По какой-то странной причине те, кто приводит подобные аргументы, никогда не замечают, а если и замечают, то не придают особого значения тому факту, что весьма примечательное число этих скелетов (на самом деле большинство) имеет свидетельства поразительных физических аномалий, которые только и могли выделить их, четко и ясно, из окружающей социальной среды[135]. Например, мальчики-подростки из захоронений в Сунгире и Дольни-Вестонице имели ярко выраженные врожденные дефекты; люди, чьи тела были найдены в пещере Ромито в Калабрии, были необычно низкого роста, также среди них встречаются останки как минимум одного человека с дварфизмом; люди, чьи останки обнаружены в пещере Гримальди, напротив, были очень высокого роста, даже по меркам нашего времени, и должны были казаться своим современникам настоящими великанами.

Вряд ли это лишь совпадение. Скорее, мы должны задуматься о том, что даже анатомически типичные, судя по останкам скелетов, тела могли принадлежать людям, нетипичным в другом; в конце концов, альбиноса или пророка, страдающего эпилепсией, который одно время мог висеть вверх ногами, а в другое — перекладывать раковины улиток, невозможно опознать по археологическим данным. Нам мало что известно о повседневной жизни людей эпохи палеолита, похороненных с предметами роскоши, кроме того, что они, судя по всему, получали такой же уход и питание, как и все остальные. Но мы можем, по крайней мере, предположить, что они воспринимались как абсолютно уникальные индивидуумы, совершенно непохожие на окружающих.

Что всё это говорит о социальном неравенстве в последний ледниковый период? Во-первых, нам, возможно, следует отказаться от преждевременных разговоров о зарождении наследственных элит. Представляется очень маловероятным, что в Европе периода палеолита возникла стратифицированная элита, по случайному стечению обстоятельств состоящая в основном из горбунов, гигантов и карликов. Во-вторых, мы не знаем, насколько обращение с этими людьми после смерти соответствовало тому, как с ними обращались при жизни. Еще один важный момент — мы обнаруживаем «богатые» захоронения с предметами роскоши, но не находим «бедных» захоронений. Выходит, что одних людей хоронили с предметами роскоши, а других по большей части не хоронили вообще[136]. Сама практика захоронения человеческих тел в нетронутом виде и в одежде, судя по всему, была

исключением в эпоху позднего палеолита. С большинством трупов поступали совершенно иначе: их обезглавливали, разрубали на части, обрабатывали или даже делали из них украшения и артефакты. (В целом люди палеолита гораздо спокойнее относились к фрагментам человеческого тела, чем мы.)

Очевидно, что целый и нетронутый труп — и, более того, в одежде — представлял собой необычное и, можно предположить, странное явление. Это же подкрепляется некоторыми важными косвенными сведениями. В подобных случаях в эпоху позднего палеолита тела мертвых людей часто покрывали тяжелыми предметами, сдерживающими тела своей тяжестью: лопатками мамонта, деревянными брусками, камнями или прочными креплениями. Возможно, обычай наряжать покойников и класть к ним оружие и украшения был обусловлен теми же соображениями — так и чествовали, и вместе с тем сдерживали потенциальную опасность. Это тоже логично. Этнографические источники изобилуют примерами того, как аномальные существа — люди и не только — могли вызывать одновременно восхищение и страх; или того, как отношение к ним могло полностью меняться после смерти.

Многое здесь является спекуляцией. Существует множество других интерпретаций, которые можно было бы добавить к подобным свидетельствам, хотя идея о том, что эти гробницы знаменуют собой появление некой наследственной аристократии, кажется наименее вероятной из всех. Похороненные люди были необычными, «исключительными» личностями. То, как с ними обращались — и здесь мы говорим не только о показной демонстрации богатств, но и о том, что их трупы украшали, выставляли и хоронили, — свидетельствовало о том, что и их смерть была отмечена столь же нетипично. Эти аномальные почти во всех отношениях захоронения вряд ли можно интерпретировать как признаки социальной структуры, бытовавшей среди живых людей. С другой стороны, они явно имеют отношение к современным свидетельствам, указывающим на существование музыки, скульптуры, живописи и сложной архитектуры в ту эпоху. Что же с ними поделать?

И здесь в дело вступает сезонная изменчивость.

Почти все необычные захоронения и монументальные сооружения ледникового периода были созданы обществами, которые немного напоминали описанных Леви-Строссом намбиквара: в одно время года они разбивались на группы охотников-собирателей, в другое — собирались вместе в крупных поселениях. Да, они собирались не для того, чтобы заниматься земледелием. Крупные поселения позднего палеолита скорее связаны с миграцией животных — шерстистых мамонтов, степных бизонов, оленей — и сезонной охотой на них, а также с циклическим ходом рыбы и сбором урожая орехов. Именно этим, по-видимому, объясняется существование в Восточной Европе таких очагов активности, как Дольни-Вестонице, где изобилие дикой природы позволяло людям устраивать пиршества, участвовать в сложных ритуалах и амбициозных художественных проектах, а также торговать минералами, морскими раковинами и мехами. В Западной Европе аналогичную роль играли величественные скальные укрытия Перигора и Кантабрийского побережья с их свидетельствами человеческой активности, тоже составлявшей часть ежегодного цикла скопления и рассеивания людей[137].

Археологические находки демонстрируют, что монументы Гёбекли-Тепе также связаны с паттернами сезонной изменчивости. Периоды активности рядом с каменными храмами соответствуют периоду изобилия, начиная с середины лета и заканчивая осенью, когда в Харранскую долину спускались крупные стада газелей. В это время люди также собирались в Гёбекли-Тепе для того, чтобы переработать большое количество орехов и дикорастущих злаков и приготовить из них праздничные блюда, которыми, предположительно, питались строители монументов[138]. Есть данные, указывающие на то, что у каждого из этих сооружений была относительно недолгая жизнь, кульминацией которой становился грандиозный праздник, после него стены сооружения заполняли остатками пищи и другими отходами: вертикали возводились лишь для того, чтобы вскоре рухнуть. В результате дальнейших исследований мы, вероятно, получим более сложную картину, но сам факт сезонных сборов для организации праздников кажется бесспорным.

Примеры такого циклического образа жизни продолжали существовать долгое время и после изобретения земледелия. Именно они могут быть ключом к пониманию знаменитых неолитических памятников, возведенных на равнине Солсбери в Англии, и не только потому, что комплекс из стоячих камней мог (среди прочего) выполнять функцию гигантского календаря. Наиболее известен среди них Стоунхендж, обрамляющий восход солнца в день летнего солнцестояния и закат — в день зимнего. Судя по всему, Стоунхендж стал последним в долгой череде церемониальных сооружений, которые на протяжении столетий возводились на этом месте из дерева или камня в те особо значимые моменты года, когда люди из далеких уголков Британских островов собирались на равнине Солсбери. Тщательные раскопки демонстрируют, что многие из этих сооружений — которые сейчас рассматривают как памятники предкам неолитической аристократии — были разобраны уже через несколько поколений после их возведения[139].

Еще поразительней тот факт, что строители Стоунхеджа не были земледельцами, или, точнее, не были земледельцами в привычном смысле. Когда-то они занимались земледелием; но практика возведения и демонтажа величественных монументов совпала с периодом, когда народы Британии, переняв неолитическую сельскохозяйственную экономику у жителей континентальной Европы, отказались, по всей видимости, от как минимум одной из ее ключевых составляющих — выращивания зерновых культур. Начиная примерно с 3300 года до н. э. они вернулись к сбору лесных орехов, снова ставших одной из основ растительной части их рациона. С другой стороны, они продолжали держать домашних свиней и стада крупного рогатого скота, которых употребляли в пищу на сезонных пирах недалеко от Даррингтон-Уоллс, процветающего города на несколько тысяч человек со своим собственным Вудхенджем зимой и практически пустовавшего летом. Судя по всему, строители Стоунхеджа не были ни земледельцами, ни охотниками, а представляли собой нечто среднее[140].

Всё это имеет ключевое значение, потому что трудно представить себе, как отказ от земледелия мог быть чем-либо кроме сознательного решения. Нет никаких свидетельств того, что одна группа людей заменила другую, как и того, что могущественные собиратели каким-то образом подавили земледельцев и заставили их забросить свои посевы. Видимо, обитатели Англии эпохи неолита оценили перспективы выращивания зерновых и коллективно решили, что они хотят жить по-другому. Как они смогли принять такое

решение? Этого мы никогда не узнаем, но сам Стоунхендж дает нам подсказку: ведь он построен из камней очень большого размера, некоторые из которых («голубые камни») были доставлены из далекого Уэльса, в то время как большую часть скота и свиней, употреблявшихся в пищу в Даррингтон-Уэллс, пригнали с большими усилиями из других удаленных районов[141].

Иначе говоря, как ни странно, даже в третьем тысячелетии до н. э. была возможна координация общих действий на протяженности значительной части Британских островов. Если, как утверждают некоторые современные археологи, Стоунхендж являлся местом поклонения благородным основателям правящего клана, то вероятно, члены этого рода претендовали на столь значительную, даже космическую роль на том основании, что они участвовали в таких мероприятиях. С другой стороны, феномен сезонных сборов и рассеиваний поднимает другой важный вопрос: если в Стоунхендже были короли и королевы, то какие? Их дворы и королевства существовали в течение всего лишь нескольких месяцев в году, в остальное время их подданные жили небольшими сообществами собирателей орехов и пастухов. Если у них была возможность свободно распоряжаться трудовыми ресурсами, накапливать запасы продовольствия и обеспечивать постоянную армию, то какой монарх сознательно отказался бы от такого?

«Полиция буффало» (раздел, в котором мы заново открываем роль сезонной изменчивости в социальной и политической жизни человека)

Напомним, что для Леви-Стросса связь между сезонной изменчивостью социальной структуры и определенной разновидностью политических свобод была очевидной. Тот факт, что одна структура применялась в сезон дождей, а другая — в сухой, позволил вождям намбиквара взглянуть на свои собственные общественные отношения с новой стороны: увидеть их не просто как «данность», как естественный порядок вещей, а как нечто, по крайней мере частично открытое для человеческого вмешательства. Пример британского неолита — с его чередованием фаз рассеяния и монументального строительства — показывает, как далеко иногда может зайти такое вмешательство.

Леви-Стросс, написавший свое эссе во время Второй мировой войны, скорее всего, не думал, что говорит что-то из ряда вон выходящее. Для антропологов первой половины XX века тот факт, что общества, которые активно занимаются охотой, выпасом скота или собирательством, часто организованы по принципу «двойной морфологии» (это понятие принадлежит Марселю Моссу, великому предшественнику Леви-Стросса{29}), считался общепринятым[142]. Леви-Стросс лишь обратил внимание на политическое значение этого феномена. Но это политическое значение крайне важно. Существование аналогичных сезонных паттернов в эпоху палеолита свидетельствует о том, что с древнейших времен

(или по крайней мере начиная с тех времен, о которых нам что-либо известно) люди сознательно экспериментировали с различными вариантами устройства общества. Чтобы составить представление о том, насколько серьезными могут быть такие сезонные различия, имеет смысл взглянуть на эти антропологические работы, сейчас преимущественно забытые, но прекрасно известные Леви-Строссу.

Ключевой текст — это «Очерк о сезонных изменениях в эскимосских обществах» Марселя Мосса и Анри Бюша, опубликованный в 1903 году. Авторы начинают со следующего наблюдения: приполярные инуиты, «а также многие другие общества... обладают двумя социальными структурами, одной — зимой, а другой — летом, и у них могут параллельно существовать две правовые и религиозные системы». Летом инуиты разбивались на группы по двадцать-тридцать человек, чтобы ловить пресноводных рыб и охотиться на северных оленей. Они занимались этим под предводительством мужчины-старейшины. В течение этого периода действовало право собственности, а патриархи могли использовать силу принуждения и даже вести себя как тираны по отношению к собственному роду — в гораздо большей степени, чем вожди намбиквара в сухой сезон. Но в долгие зимние месяцы, когда тюлени и моржи стекались на арктическое побережье, всё резко менялось. Инуиты собирались вместе, чтобы возвести величественные дома для собраний из дерева, камня и китовых ребер; в этих домах царил равенство, альтруизм и коллективная жизнь. Богатствами делились, а мужьями и женами обменивались под покровительством Седны, богини моря[143].

Мосс считал инуитов идеальным примером для исследования, поскольку они жили в Арктике, в самых суровых природных условиях, какие только может выдержать человек. Мосс подсчитал, что даже в субарктическом климате физические факторы: наличие диких животных, строительных материалов и так далее — объясняли в лучшем случае лишь 40 процентов картины. (Он отмечал, что другие приполярные народы, в том числе соседи инуитов, живущие в почти идентичных физических условиях, организовывали свою жизнь совсем иначе.) В значительной степени, заключал он, инуиты выбирали такой образ жизни потому, что считали, что именно так и должны жить люди.

Примерно в то же время, когда Марсель Мосс прочесывал французские библиотеки в поисках всего, что когда-либо было написано об инуитах, немецкий этнолог Франц Боас исследовал квакиутль, коренных охотников-собирателей, проживающих на северо-западном побережье Канады. Боас обнаружил, что в данном случае общественное устройство становилось наиболее иерархическим зимой, а не летом. Это было впечатляющее зрелище. По всему побережью Британской Колумбии возводились дощатые дворцы, а наследственная знать чинила суд над соотечественниками — простолюдинами и рабами — и устраивала грандиозные пиры, известные как потлач{30}. Однако аристократические дворы распадались на время летней работы с началом рыболовного сезона. Они уступали место менее крупным клановым объединениям — тоже стратифицированным, но с совершенно иной и гораздо менее формальной структурой. Квакиутль даже носили разные имена летом и зимой — то есть в другое время года они буквально становились другими людьми[144].

После эмиграции в США Боас стал профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке. Он преподавал практически у всех знаменитых американских антропологов, сделавших себе

имя в последующие полвека. Один из его студентов, родившийся в Вене этнограф Роберт Лоуи^{31} (кстати, близкий друг Пола Радина, автора книги «Примитивный человек как философ»), проводил полевое исследование в племенах мандан-хидатса и кроу, проживавших на территории современных штатов Монтана и Вайоминг. Большую часть своей карьеры Лоуи посвятил осмыслению политического значения сезонной изменчивости у племенных конфедераций, живших на Великих равнинах в XIX веке.

Народы Великих равнин некогда были земледельцами, но по большей части отказались от выращивания зерновых после того, как заново приручили сбежавших от испанцев лошадей и приняли преимущественно кочевой образ жизни. В конце лета и начале осени небольшие и чрезвычайно подвижные группы шайеннов и лакота собирались в крупных поселениях, чтобы провести логистическую подготовку к охоте на буйволов. В это очень важное для них время года они назначали полицию, которая могла применять любые меры принуждения, в том числе заключать в тюрьму, пороть и штрафовать нарушителей, угрожавших сорвать охоту. При этом, как отмечает Лоуи, такого рода «однозначно авторитарный режим» действовал только в течение одного сезона. Когда сезон охоты и следовавшие за ним коллективные ритуалы Танца Солнца подходили к концу, авторитарный режим уступал место тому, что антрополог назвал «анархическими» формами организации: общество снова разделялось на небольшие мобильные группы. Лоуи делает удивительные замечания:

“ Для того чтобы обеспечить максимальное количество добычи, полиция — в нее либо входили члены военного клуба, либо она назначалась по ситуации, либо в ней служили представители определенного клана — отдавала распоряжения и пресекала нарушения порядка. В большинстве племен полиция не только изымала тайно добытую дичь, но и порола нарушителей, уничтожала их собственность и, в случае сопротивления, убивала их. Та же самая организация, которая до этого, имея дело с убийцей, ограничивалась простой воспитательной беседой, превращалась на время охоты на буйволов [бизонов] в безжалостный государственный орган. Однако... меры принуждения выходили далеко за рамки охоты: солдаты также с применением силы задерживали смельчаков, затевавших военные походы, которые, по мнению вождя, были неуместны в текущей ситуации; регулировали направление массовых миграций; контролировали толпу во время главного праздника и различными другими способами поддерживали закон и порядок[145].

«Большую часть года», продолжает Лоуи, «племена как такового просто не существовало; а семьи или небольшие группы родственников, которые совместно обеспечивали себя, не предполагали никакой специальной дисциплинарной организации. Таким образом, солдаты возникали как сопутствующий элемент собраний большого количества людей и, следовательно, существовали не всё время, а лишь в отдельные периоды». Но власть солдат хоть и была временной, не становилась от этого менее реальной, подчеркивал Лоуи. Как следствие, он настаивал на том, что жившие на равнинах индейцы на самом деле имели некоторое представление о государственной власти, несмотря на то что они так и не создали государство.

Можно понять, почему неозволюционисты 1950-х — 1960-х годов не знали, что делать с этими полевыми наблюдениями. Они утверждали, что существуют отдельные стадии развития политической структуры общества (по порядку: группы, племена, вождества, государства) и что эти стадии хотя бы примерно соответствуют аналогичным стадиям экономического развития: охота и собирательство, садоводство, земледелие, индустриальная цивилизация. Народы вроде намбиквара, которые в течение года перепрыгивали из одной стадии экономического развития в другую и обратно, уже вносили достаточно путаницы в эту схему. Но шайенны, кроу, ассинибойны и лакоты еще и регулярно перескакивали из одного конца политического спектра в другой. Их общественное устройство представляло собой своеобразную амальгаму группы и государства. Иначе говоря, они ломали всю схему.

Тем не менее выводы Лоуи однозначны, и он далеко не единственный антрополог, наблюдавший такое явление[146]. Он также отмечал — и это особенно интересно в контексте нашей работы, — что индейцы Великих равнин были сознательными политическими акторами, прекрасно понимающими возможности и опасности авторитарной власти. Они не только устраняли все возможности для использования мер принуждения после завершения ритуального сезона, но также осуществляли ротацию кланов и военных клубов, исполнявших полицейские функции: те, кто обладал властью в этом году, в следующем должны были подчиняться[147].

Наука не всегда движется вперед. Иногда она откатывается назад. Еще сто лет назад большинство социальных исследователей понимали, что люди, которые в основном обеспечивают себя ресурсами дикой природы, не ограничиваются жизнью в маленьких «группах». Как мы видели, предположение о том, что это так, утвердилось только в 1960-х годах. Выше мы неспроста упомянули банды байкеров и коммуны хиппи. Именно эти образы тогда будоражили общественное сознание и всплывали в спорах о человеческой природе. Неслучайно самые популярные этнографические фильмы послевоенного периода рассказывали либо о бушменах Калахари и пигмеях мбути («группах», несколько напоминавших коммуны хиппи), либо о яномам или «жестоких людях» (амазонских садоводах, которые в картине мира Наполеона Шаньона имели тревожное сходство с «Ангелами Ада» — хотя Хелена Валеро, как мы помним, придерживалась другого мнения).

Поскольку в рамках нового, эволюционистского подхода определяющей характеристикой «государства» была монополия на «легитимное использование принуждения», то получалось, что жившие в XIX веке шайенны или лакота примерно каждый ноябрь эволюционировали с уровня «группы» на уровень «государства», а с приходом весны возвращались на прежнюю ступень развития. Очевидно, что это глупость. Никто не стал бы утверждать подобное всерьез. Тем не менее на это важно обратить внимание, потому что это демонстрирует, насколько глупым было изначальное предположение, что общества обязательно проходят через несколько эволюционных ступеней в процессе своего развития. Невозможно говорить об эволюции от группы к племени, от племени к вождеству, а от вождества к государству, если отправной точкой являются группы, для которых плавное переключение между этими стадиями — основа привычного образа жизни.

Сезонный дуализм обрекает на неудачу и современные попытки классифицировать охотников-собирателей, разделив их на два типа: на «простых» и «сложных». Признаки, по которым определяют «сложных» охотников-собирателей, — территориальная принадлежность, социальные иерархии, материальное богатство или соревнования в демонстрации роскоши — появляются лишь в определенные сезоны, а затем отвергаются теми же самыми людьми. Конечно, большинство профессиональных антропологов сегодня признают эти категории безнадежно неточными, но основной эффект этого признания заключается лишь в том, что ученые либо меняют предмет исследований, либо предлагают вовсе отказаться от размышлений об истории человечества в столь широкой перспективе. Никто пока не предложил альтернативы.

Между тем, как мы увидели, археологические находки подталкивают нас к выводу, что в течение последнего Ледникового периода в местностях, отличавшихся ярко выраженной сезонностью, наши далекие предки вели себя почти точно так же, как инуиты, намбиквара или кроу. Они переключались между альтернативными вариантами общественного устройства, возводили монументы и затем забрасывали их, в определенное время года позволяли авторитарным структурам возникнуть и затем демонтировали их — и при этом, судя по всему, исходили из того, что никакой общественный порядок не является постоянным и неизменным. Один и тот же человек мог временами жить в том, что мы бы посчитали «группой», иногда — в племени, а иногда в том, что как минимум по некоторым характеристикам соответствует нашему представлению о государстве.

Такая институциональная гибкость влечет за собой способность выходить за пределы любой структуры и размышлять о ней: и строить, и разрушать политические миры, в которых мы живем. По крайней мере, это объясняет, почему в последнем ледниковом периоде мы встречаем «принцев» и «принцесс», которые возникают в величественной изоляции, подобно персонажам сказки или костюмированной драмы. Возможно, они буквально были такими персонажами. Если они и правили, то, вероятно, лишь в течение одного сезона, как и господствующие кланы Стоунхенджа[148].

Почему главный вопрос заключается не в том, «каково происхождение социального неравенства?», а в том, «как мы в нем застряли?»

Если мы правы и человеческие существа действительно провели большую часть последних 40 тысяч или около того лет, переключаясь между различными формами общественного устройства, выстраивая и затем разрушая иерархии, то последствия будут очень глубокими. Прежде всего получается, что Пьер Кластр был в общем-то прав, когда предположил, что люди в обществах без государства не менее, а, возможно, гораздо более политически сознательны, чем наши современники.

Кластр тоже был порождением 1960-х. Как ученик Леви-Стросса, он очень серьезно относился к идее своего учителя о том, что амазонские вожди были зрелыми политическими акторами. Но Кластр был еще и анархистом (в итоге его исключили из исследовательской группы Леви-Стросса под надуманным предлогом, включавшим несанкционированное использование официальных бланков) и пошел гораздо дальше Леви-Стросса в этом рассуждении. Амазонские вожди были не просто расчетливыми политиками. Они были расчетливыми политиками, вынужденными маневрировать в социальной среде, намеренно выстроенной таким образом, чтобы лишить их возможности обладать реальной политической властью. Зимой они руководили крошечными и незначительными группами. Летом они и вовсе никем не «руководили». Да, их дома могли выполнять функции, схожие с теми, которые в современных государствах всеобщего благосостояния выполняют социальные службы; но в результате, если говорить о материальном богатстве, вожди были самыми бедными людьми в деревне, поскольку они должны были постоянно раздавать имущество соплеменникам. Они также должны были подавать пример другим, работая усерднее всех. Даже в тех случаях, когда вожди имели особые привилегии — в племенах тупи и намбиквара они были единственными в деревне мужчинами, которым разрешалось иметь несколько жен, — у этих привилегий была своя обратная сторона. Многоженство вождей считалось необходимым для приготовления пиров для всей деревни. Если одна из жен находила себе любовника, а это, судя по всему, происходило постоянно, вождь ничего не мог с этим сделать, ведь для того, чтобы оставаться вождем, ему приходилось дорожить благосклонностью всех жителей деревни.

Вожди оказались в таком положении, утверждал Кластр, потому что не только они, но и остальные жители деревни были зрелыми и проницательными политическими акторами. Они не пребывали в состоянии первобытной невинности в духе Руссо, не будучи способными вообразить более сложные формы организации, — напротив, эти люди гораздо лучше нас умели представлять себе альтернативные способы общественного устройства и поэтому создали «общества против государства». Они сознательно выбрали такое общественное устройство, которое делало невозможным появление тех форм властного произвола и доминирования, которые мы связываем с «развитыми политическими системами».

Тезисы Кластра, как легко догадаться, вызвали множество споров. Некоторые критические замечания в его адрес были совершенно оправданными (например, он практически полностью проигнорировал гендерный аспект). Тем не менее большинство его критиков опирались на руссоистские принципы, настаивая, что Кластр приписал «примитивным» или «архаическим» народам способности воображения, которыми они по определению не могли обладать. Как можно утверждать, писали критики, что люди в обществах без государства сознательно выбрали такую форму общественного устройства, чтобы предотвратить появление того, с чем они никогда не сталкивались?

В ответ на это возражение можно привести сразу несколько контраргументов. Во-первых, неужели жители Амазонии ничего не знали о великих андских империях, расположенных к западу от них? Люди могли путешествовать. Маловероятно, что они не имели представления о том, что происходило в соседних частях континента. Более того, как мы увидим в седьмой главе, многочисленные свидетельства указывают на то, что в самой Амазонии в более ранний период существовали крупные государства. Возможно, народы

Амазонии, о которых писал Кластр, были потомками мятежников, бежавших из древних царств, а то и разрушивших их. Но самое очевидное возражение заключается в том, что если народы Амазонии, о которых идет речь, были похожи на намбиквара, то они действительно имели опыт авторитарного управления во время своих ежегодных «приключений» в составе групп собирателей. Однако, как ни странно, сам Кластр никогда не указывал на это. Более того, он вообще никогда не говорит о сезонности.

Это любопытное упущение — и крайне важное. Ведь проигнорировав этот аспект, Кластр вбил последний гвоздь в крышку гроба более ранней антропологической традиции, идущей от Марселя Мосса до Роберта Лоуи, которая считала «примитивные» общества гибкими по своей сути и отмечала, что для них типична множественность организационных форм. Теперь же и неозволюционисты, принимавшие «примитивных» людей за наивных руссоистских дикарей, и радикалы, настаивавшие, что эти люди были сознательными сторонниками эгалитаризма, посчитали само собой разумеющимся, что изучаемые ими общества застряли в одном очень простом общественном укладе.

В случае с Кластром это тем более удивительно, поскольку в своей работе 1962 года, где впервые была высказана идея об отсутствии власти у индейских вождей, он откровенно признаёт, что почти целиком позаимствовал свой аргумент у Лоуи. За четырнадцать лет до этого Лоуи утверждал, что большинство обществ коренных американцев, от Монреаля до Огненной земли, были по сути анархическими[149]. Его аргумент о том, что «обычно вождь индейского племени не является ни законодателем, ни представителем исполнительной власти, ни судьей, он — миротворец, благодетель бедных и болтливый Полоний» (то есть на самом деле функции вождя заключаются в том, чтобы 1) выступать посредником при урегулировании конфликтов; 2) помогать нуждающимся; 3) развлекать людей красивыми речами), в точности воспроизводится, пункт за пунктом, в работе Кластра. Повторяется в ней и заключение Лоуи: поскольку власть вождя была ограничена таким образом, чтобы он ни в коем случае не смог превратить ее в способ принуждения, то власть в том виде, в котором она существует в государстве, могла быть создана только религиозными визионерами того или иного рода.

Вспомним, однако, что работа Лоуи включала в себя один дополнительный раздел, посвященный «эволюционным зародышам» вертикальной власти, в котором он подробно описывал сезонную «полицию» и «солдат» в обществах индейцев Великих равнин. Кластр просто проигнорировал его. Почему?

Ответ, вероятно, прост: сезонная изменчивость сбивает с толку. Это своего рода джокер, шальная карта. Общества Великих равнин создавали структуры принуждения, существовавшие на протяжении сезона охоты и следовавших за ним ритуалов, и ликвидировали их, когда разбивались на небольшие группы. А жители Центральной Бразилии, наоборот, разделялись на группы собирателей для того, чтобы учредить политическую власть, которая не работала в условиях деревни. У инуитов отцы правили летом, а в период зимних сборищ патриархальная власть и даже нормы сексуального поведения ставились под сомнение, подрывались или просто переставали существовать. Квакиутль сохраняли иерархическую организацию в течение всего года, но формы, которые принимала иерархия, менялись: участники церемонии середины зимы («медведи-танцоры» и

«клоуны-танцоры») наделялись полицейскими полномочиями, но только на время исполнения ритуала. В остальные времена года аристократы распоряжались большим состоянием, но не могли непосредственно командовать своими соплеменниками. Многие общества охотников и собирателей в Центральной Африке сохраняют эгалитарное устройство круглый год, но у них, судя по всему, каждый месяц меняется порядок проведения ритуалов — в них поочередно доминируют мужчины и женщины[150].

Иными словами, нет никакой единой закономерности. Единственное явление, общее для всех этих случаев, заключается в самом факте изменений и в следующем из него понимании того, что возможны разные варианты общественного устройства. Всё это свидетельствует о том, что, задаваясь вопросом о «происхождении социального неравенства», мы идем по ложному пути.

Если на протяжении большей части нашей истории человеческие существа плавно перемещались между различными вариантами общественного устройства, регулярно создавая и демонтируя иерархии, то, возможно, главный вопрос должен звучать так: «Как мы застряли?» Как мы оказались в одном режиме? Как мы потеряли политическое самосознание, столь характерное для нашего вида? Как мы пришли к тому, чтобы воспринимать превосходство и подчинение не как временные меры или сопутствующие элементы масштабного сезонного театрального представления, а как неотъемлемые составляющие человеческой жизни? Если вначале мы просто играли, то в какой момент мы забыли, что это всего лишь игра?

Ответы на эти вопросы мы будем искать в последующих главах. На данном этапе важно подчеркнуть, что мы не целиком утратили эту гибкость и потенциал к политическому самосознанию. Мосс говорил примерно о том же. Сезонная изменчивость по-прежнему присутствует в нашей жизни — даже если это всего лишь бледная тень того, чем она когда-то была. Например, в христианском мире по-прежнему существует «праздничный сезон», приходящийся на середину зимы. В это время привычные ценности и формы организации в некотором смысле обращаются в свою противоположность: те же самые медиа и рекламодатели, которые большую часть года втюхивают нам бешеный потребительский индивидуализм, вдруг начинают заявлять, что главное — это социальные связи и что лучше отдавать, чем получать. (А в просвещенных странах вроде Франции, где жил Мосс, также существует практика летних *grandes vacances*{32}, когда все на месяц оставляют работу и уезжают из города.)

Здесь есть прямая историческая связь. Как мы уже знаем, у таких обществ, как инуиты или квакиутль, времена сезонного скопления людей также были ритуальными сезонами, почти полностью отданными танцам, обрядам и представлениям. Иногда это предполагало появление временных королей и даже полиции, наделенной реальной силой принуждения (хотя зачастую эти ритуальные полицейские были по совместительству клоунами)[151]. В других случаях это вызывало разрушение иерархий и норм приличия, как, например, во время оргий инуитов в середине зимы. Эту дихотомию по-прежнему можно наблюдать на праздниках почти по всему миру. Приведем хорошо знакомый пример: в средневековой Европе дни святых поочередно представляли собой то торжественные мероприятия, демонстрировавшие сложную систему рангов и иерархий феодальной жизни (подобно тому

как похожую систему демонстрируют современные церемонии вручения дипломов в колледже, во время которых мы на время вновь одеваемся в средневековые наряды), то безумные карнавалы, во время которых все играли в игру «переверни мир с ног на голову». Во время карнавала женщины могли властвовать над мужчинами, дети — руководить государством, слуги — повелевать своими хозяевами, предки — возвращаться из мира мертвых, «карнавальных королей» можно было короновать и свергать, гигантские монументы вроде плетеных драконов возводили и предавали огню, а все формальные иерархии могли разложиться до состояния вакханального хаоса[152].

Как и в случае с сезонностью, здесь нет общей закономерности. Ритуалы могут быть более строгими и формальными или же более дикими и веселыми, чем поведение людей в повседневной жизни. Или же, как в случае с похоронами и поминками, они могут быть то такими, то другими. Судя по всему, то же самое справедливо и в отношении праздников почти во всех уголках мира, будь то Перу, Бенин или Китай. Вот почему антропологам бывает так трудно ответить на вопрос, что же такое «ритуал». В случае с торжественными мероприятиями ритуал относится к сфере этикета и норм приличия. Например, ритуалы Высокой церкви{33} — это всего лишь очень сложная версия столового этикета. Некоторые заходят так далеко, что утверждают: то, что мы называем «социальной структурой», существует только во время ритуалов. вспомните семьи, которые существуют как физическая группа только в период бракосочетаний и похорон, во время которых ранги и приоритеты устанавливаются в зависимости от того, кто сидит за каким столом, кто говорит первым, кто получает самый верхний кусок горба принесенного в жертву водяного буйвола или первый кусок свадебного торта.

Но иногда праздник оказывается временем господства совершенно иных социальных структур; так, в Рождество, на Майский праздник или во время карнавала по всей средневековой Европе многие управленческие функции получали «юношеские аббатства» с их мальчиками-епископами, майскими королевами, господами беспорядка, аббатами-гуляками и князьями пьянчуг, которые устраивали похабную пародию на государственные институты. То есть существует и другая школа мысли, представители которой придерживаются прямо противоположных взглядов на ритуал. Они считают, что самые яркие моменты ритуала — это моменты всеобщего хаоса, возбуждения, лиминальности и творческой игры, во время которой могут возникать новые формы социальной организации[153].

Наконец, есть и вековой спор (честно говоря, не особо поучительный) о том, были ли эти народные праздники, столь бунтарские на вид, такими уж бунтарскими в действительности; или же они на самом деле были консервативным явлением, позволявшим простым людям выпустить пар и дать волю своим самым низменным инстинктам, прежде чем вернуться к привычному ежедневному подчинению[154]. Но на наш взгляд, этот спор упускает из виду всё по-настоящему важное.

В праздниках важнее всего то, что они сохраняли старую искру политического самосознания. Они давали людям возможность представить, что возможны и другие порядки, в том числе и в масштабе всего общества, поскольку всегда можно было фантазировать о том, что карнавал лопнет по швам и станет новой реальностью. В

вавилонской народной истории о Семирамиде одноименная девушка-служанка убеждает ассирийского царя позволить ей стать «царицей на день» во время ежегодного праздника. Сразу после этого она приказывает арестовать царя, объявляет себя правительницей и во главе своей новой армии отправляется на завоевание мира. Первое мая было выбрано в качестве дня для международного праздника трудящихся во многом потому, что в Британии крестьянские восстания неоднократно начинались именно в этот день, во время бурного праздника. Крестьяне, игравшие в игру «переверни мир с ног на голову», периодически приходили к выводу, что такой перевернутый мир им нравится куда больше, и делали всё возможное, чтобы его сохранить.

В Средние века крестьянам часто было гораздо легче, чем интеллектуалам, представить себе общество равных людей. Пожалуй, теперь мы начинаем понимать почему. Хотя сезонные праздники могут быть лишь бледной тенью более древней сезонности общественных порядков, они, по крайней мере в последние несколько тысяч лет человеческой истории, играли во многом схожую роль: культивировали политическое самосознание и выступали своего рода лабораториями альтернатив общественного устройства. Первые короли вполне могли быть людьми, игравшими в королей. Потом они стали настоящими королями. Сейчас же большинство существующих королей (не все) снова превратились в королей понарошку — они выполняют в основном церемониальные функции и больше не обладают реальной властью. Но даже если бы все монархии, в том числе и церемониальные, исчезли, люди всё равно продолжили бы играть в королей.

Даже в средневековой Европе, в местах, где никто не ставил под сомнение монархию как форму правления, «аббаты-гуляки», святочные короли и подобные им обычно избирались голосованием или жребием — теми же самыми способами коллективного принятия решений, которые, словно из ниоткуда, снова возникнут в эпоху Просвещения. (Более того, такие фигуры обычно осуществляли свою власть на манер вождей коренных американских племен: либо их власть была ограничена решением очень конкретных вопросов, как в случае с военными вождями, которые могли отдавать приказы только во время военных экспедиций; либо, подобно деревенским вождям, они удостаивались формальных почестей, но не могли никому приказывать.) Календарь праздников в огромном количестве обществ можно рассматривать как настоящую энциклопедию возможных политических форм.

Что на самом деле значит быть человеком разумным

Закончим эту главу тем, с чего мы ее начали. Мы слишком долго придумывали мифы. Как следствие, мы в основном задавались не теми вопросами: являются ли праздничные ритуалы демонстрацией власти или двигателем социальных изменений? Реакционны ли они или прогрессивны? Наши далекие предки жили в простых и эгалитарных обществах или в сложных и стратифицированных? Человек невинен или порочен по своей природе? Мы как вид ориентированы на сотрудничество или на конкуренцию? Мы доброжелательны или эгоистичны? Добры или злы?

Возможно, все эти вопросы не давали нам увидеть то, что на самом деле делает нас людьми; нашу способность — как нравственных и социальных существ — находить компромиссы между этими альтернативами. Как мы уже отмечали, эти вопросы бессмысленны по отношению к рыбе или ежу. Животные всегда уже существуют «за гранью добра и зла» — в том самом состоянии, к которому, как мечтал Ницше, могли бы стремиться и люди. Возможно, мы обречены всё время спорить о подобных вещах. Но гораздо интереснее задавать и другие вопросы. Пришло время остановить маятник, который приковывал к себе внимание целых поколений философов, историков и социальных ученых: Гоббс — Руссо, Руссо — Гоббс и так далее. Нам больше не нужно выбирать между эгалитарным или иерархическим началом человеческой истории. Попрощаемся же с «детством Человека» и признаем (на чем настаивал Леви-Стросс), что наши древнейшие предки были равны нам не только в когнитивном, но и в интеллектуальном плане. Скорее всего, они так же усердно, как и мы, пытались разрешить парадоксы общественного порядка и социального созидания; и понимали их — по крайней мере, самые рассудительные из наших предков — столь же глубоко, что, впрочем, значит, что и столь же недостаточно. Вероятно, одни вещи они осознавали лучше, а другие — хуже. Они не были ни невежественными дикарями, ни мудрыми сыновьями и дочерьми природы. Они были, как говорила Хелена Валеро о яномами, просто людьми, как и мы; такими же пронизательными, такими же растерянными.

Как бы то ни было, всё более очевидно, что самые ранние из известных свидетельств социальной жизни человека гораздо ближе к карнавальному параду политических форм, чем к унылым абстракциям эволюционной теории. Если здесь и есть какая-то загадка, то она заключается в следующем: почему *Homo sapiens* — предположительно, умнейшие среди приматов — после тысячелетий создания и разрушения иерархических структур позволили укорениться постоянным и непоколебимым системам неравенства? Действительно ли это стало следствием перехода к земледелию? Или всё дело в том, что люди начали жить в постоянных поселениях и позднее в городах? Должны ли мы искать момент в истории вроде того, который представлял себе Руссо, когда кто-то впервые огородил участок земли и заявил: «Эта земля — моя и всегда будет моей!» Или это еще одна тщетная затея?

К этим вопросам мы и перейдем.

Версия #2

Зверобой создал 8 февраля 2026 00:12:09

Зверобой обновил 8 февраля 2026 00:40:35